

Март ещё не набрался весенней силы. Холодная ночь вычёсывала голыми ветвями деревьев низко стелющуюся над землёю облачную кудель, ветер кудрявил её, свивая снежные локоны в льдистую пряжу, и доживавшая последние недели старуха-зима продолжала ткать застывшей земле белый саван в надежде хоть как-то продлить свою годину и до апреля не пускать в Москву тепло.

К утру стало тихо, прозрачно и морозно.

Анастасия Александровна пораньше вышла из дома, чтобы по короткой дороге в школу завернуть в парк, насладиться такой редкой в столице снежной чистотой и свежестью, услышать хруст снега и журчание мелкой, но не замерзающей даже в самую студёную пору быстрой речушки со странным названием Раменка.

Забинтованная на несколько месяцев метелями, укрытая по берегам снегом, по-девичьи стыдливо скрывала речка свою шелудливую городскую нечисть, лишь

в зиму дивно преображаясь, подобно сказочной Снегурочке, а по весне бурными тальными водами пыталась смыть выступавшую грязь и струпья, очиститься от скверны. Да только не получалось это. Лишь проступало ласковое тепло, русло вновь забивалось отбросами и хламом людского непотребства. И торопно бежала Раменка, когда-то полноводная, чистая и лучистая, а теперь срамная, помойная и хлоридно-желтушная, боязливо чураясь стороннего глаза, стыдясь и стесняясь своей нежестости и неухоженности, и текла не журча, а плача, уродуя и без того неброскую красоту свою гнойниками человеческого свинства, — запинаясь о старые автопокрышки, путаясь в рваных полиэтиленовых пакетах, карябаясь ржавым железом, напарываясь на битое бутылочное стекло.

Несколько лет подряд в последний учебный день мая Анастасия Александровна вместе с учениками своих классов пыталась помочь речушке — в десятки рук собирали по берегам мусор, как могли, чистили русло, вытаскивая из воды всяческое барахло и пакостную дрянь. И благодарила их Раменка, чем могла: красивыми камешками, черепками старинной глиняной посуды и даже — о чудо — позеленевшей от времени медной монеткой: ведь ещё в XI–XIV веках по её берегам селились вятичи, до сих пор сохранились места их погребений — курганы. А вот непролазно-тёмный хвойный лес — рамень, давший имя речке, исчез, как не бывало. До недавнего времени вращалась избами в берег деревня Раменки, по которой и назвали сначала улицу, а потом и самый большой район на Западе Москвы, поглотивший невеликое сельцо.

Теперь здесь был парк «50-летия Октября», который недавно получил статус особо охраняемой природной территории, и усилиями городских властей речушка стала понемногу облагораживаться, оживать.

Школа — типовая постройка начала восьмидесятых годов, стояла на косогоре. Три этажа, двор-каре, высокое парадное крыльцо смотрело сквозь арку в парк. Давным-давно, устраиваясь сюда на работу, Анастасия Александровна получила пять девятых классов. И каких классов! Умницы, великолепно успевавшие едва ли не по всем предметам и просто влюблённые в литературу. Это были те времена, когда школы назывались школами, а не ГБОУ, демографический крест ещё не втоптал Россию в глубокую яму, и десятилетки не испытывали недостатка в учениках. Одних только первых классов в некоторых школах микрорайона было девять — если по буквам, то от «А» до «И».

Так получилось, что Агриппина Васильевна — великолепная учительница-словесник, проработавшая в этой школе со дня её открытия, уходила на пенсию. Ветерана и заслуженного учителя РСФСР никто не выживал, не подсиживал, наоборот: и директор и родительские комитеты классов уговаривали поработать ещё хотя бы пару годков — довести всю параллель девятых, а затем — и выпускные десятые классы. Но возраст — шестьдесят с хвостиком, трудное военное детство в далёком сибирском городе и долгое учительство в школах на комсомольских стройках — брали своё. Она уже часто болела, но пока могла — приходила и вела уроки, преодолевая недуг. Однако болячки оказались сильнее, а халтурить — сидеть на больничном, получая зарплату (подумать только, в годы «советского застоя» государство полностью оплачивало больничный!!!) и перекладывая работу на плечи других учителей, она просто не могла, да и не умела.

Узнав, что в школу на её место принимают нового учителя русского языка и литературы, которой передают всех девятиклассников, она сама, невзирая на свой авторитет и возраст, подошла к новому педагогу и, бережно взяв коллегу под локо-

ток, около двух часов наматывала с ней круги по периметру школьного коридора, а потом и по парку, рассказывая о своих учениках, поимённо характеризуя едва ли не каждого, его сильные и слабые стороны, методику своего преподавания, хорошо и не очень усвоенные классами темы, способы выстраивания, а не выяснения отношений с проблемными чадами и их родителями и ещё многое-многое из того, о чём могут подолгу говорить два заинтересованных человека, бесконечно влюблённых в детей, русский язык, литературу и свою работу.

С того памятного дня конца августа они стали почти друзьями. Поначалу Агриппина Васильевна довольно часто приходила в школу попроведовать своих бывших учеников, узнать об их успехах и проблемах, подсказать что-то своей преемнице и даже посидеть на открытых уроках. Она просто не могла жить без школы, которой отдала столько лет и сил. И чувство ответственности за последний набор своих учеников, которых она вела с пятого класса, не позволяло ей взять, и вот так, в один момент бросить «этих желторотых птенчиков», многие из которых были ростом уже выше её.

На первых порах Анастасия побаивалась этих визитов — дети, особенно старшеклассники, весьма ревностно, а порой и предвзято относятся к новому учителю, невольно сравнивая его со своим прежним наставником, в котором души не чаяли. И чем больше они любили старого, тем труднее было новому преподавателю, и не всегда гладко привыкают школьники к другим требованиям, методике и стилю обучения. И в чём причина: привычка, ревность, привязанность, любовь?.. — да кто ж его разберёт. Но Царица Агриппа — так ученики звали между собой свою бывшую преподавательницу, деликатно и ненавязчиво делала всё для того, чтобы трудный период выстраивания добрых отношений между классами и новым учителем прошёл быстро и без особых проблем.

В её облике и вправду было что-то царственное: рост, осанка, достоинство, манера говорить и лицо, которое запоминалось с первого взгляда — гордое, но не надменное, величавое, но не спесивое. Никому и в голову не приходило назвать её уменьшительно-ласкательным именем Груня. Только она умела царственным жестом вызвать баловника-неуча к доске, которая в тот момент становилась для него плахой, и путь по классу на эшафот был для двоечника долгим и тягостным. Но именно эта дорога приводила многих подопечных ей шалопаев к звёздам.

Учтивость и тактичность Агриппы порой изумляли Анастасию: прежде чем наведаться в школу, она обязательно звонила и не просто ставила в известность о своём приходе, а предупреждала, словно извиняясь, разрешения спрашивала — мол не помешаю ли, не оторву ли от срочных дел, будет ли время поговорить... И через два года — на последнем звонке, а потом и на выпускном, они стояли рядышком, держа огромные букеты цветов, и, счастливые успехами своих выкормышей, принимали искренние слова благодарности, украдкой смахивая растроганные слёзы.

Ещё через пару месяцев, в канун первого сентября, когда пряным мёдом на языке таяло лето, и уже состоялся августовский педсовет, где среди прочих новостей становилось известно, кто из выпускников в какой вуз поступил, Агриппина Васильевна вновь добралась до школы, чтобы узнать последние события, связанные со «своими детьми». Увы, но со временем её визиты становились всё более редкими и сводились к ежегодному октябрьскому чаепитию в учительской за счёт профсоюзных средств в день пожилых людей, да волнующему свиданию раз в пятилетку в день встречи выпускников. С годами и эти связи увяли, а ещё через

несколько лет и вовсе оборвались; в школе об учителях-пенсионерах совсем забыли — администрация нового, постиндустриального времени была озабочена делами куда более насущными: отчётами о росте успеваемости и использовании инновационных технологий обучения, реструктуризацией да эффективным финансовым распилом бабла среди своих, и менее всего помышляла о давно «отработанном материале». И только Анастасия Александровна да кто-нибудь из прежних учеников нет-нет, да и заглядывали домой к старенькому преподавателю. А потом эти встречи стали ещё более редкими: чума постперестроечной поры, новая экономическая ситуация и глобализация расшвыряли бывших учеников по стране и миру, а постоянная занятость Анастасии, увеличение нагрузки и рост административных требований не давали ни вздохнуть, ни продохнуть. Конечно, был телефон, а потом и скайп, но старая преподавательница не любила такого виртуального общения. Как можно беседовать о чём-то важном, когда не видишь глаз собеседника? Не разговор это, а так, передача информации и не более того. И всё же, как минимум два раза в год — на профессиональный учительский праздник и в день рождения Царицы Агриппы — Анастасия звонила в знакомую дверь и за чашкой чая и купленным по пути тортиком проводила полтора-два, а то и три часа в душевных разговорах с угасающей старостью, с грустью отсчитывая очередные, трудно прожитые Агриппиной Васильевной полгода-год, количество которых уже перевалило на девятый десяток.

Вот и сейчас, сразу после женского дня, Анастасия пораньше закончила свои школьные дела и торопилась с только что купленным тортиком и небольшим букетом к знакомой хрущёвке, чтобы по-домашнему, совсем не по-царски поздравить Царицу Агриппу с первым весенним праздником и днём рождения.

Зима в этом году выдалась скупой на белых мух, а март расщедрился — снежная стынь. Непроглядь и муть вечернего полумрака таинственно мерцала неоновыми бликами снега и берёз, резалась кринолином света уличных фонарей.

— Вот, наконец-то ты пришла, — приветливо улыбнулась Агриппина Васильевна, открыв дверь. — А то я уже все жданки съела. Проходи, снимай пальто.

Прошедшие полгода ещё больше иссушили старушку, пригнули к земле. Но она не сдавалась, всю хворь и боль зажав в кулак. Всё то же лицо, только ещё больше испещрённое кракелюром морщин, так же гладко зачёсанные и собранные на затылке в небольшой узелок седые до прозрачности волосы, очки, вручную подогнанное по исхудавшей и ссутулившейся фигуре старенькое, но опрятное платье, теплые вязаные носки, новенькие домашние тапочки: очевидно, хозяйка готовилась к приходу единственной гостьи, и скромный наряд — всё, чем именинница могла порадовать и себя и долгожданного визитёра на свою хорошую, но маленькую пенсию. От хронического безденежья её кошелёк уже давно пребывал в состоянии блокадной худобы, переходящей в клиническую дистрофию.

Она почти не выходила из дома — так, посидеть чуть-чуть в погожий день на лавочке возле подъезда — не для того чтобы слушать сплетни докучливых соседок, а просто посмотреть на резвящихся в детском городке малышей, — её-то окно выходило на улицу с потоком машин, а не во двор. Старость не превратила её в капризную, опустившуюся и сварливую бабку; она уже давно жила одна, и не перед кем было выёживаться, демонстрируя свою вредность, которой, впрочем, и в помине не было.

Так одиночество доживало свой долгий и трудный век в интерьере книг, которые снизу доверху заполнили крошечную квартирку, лекарств, телевизора, да

бэушного ноутбука, подаренного кем-то из бывших учеников. Кроме мудрого венценосного взгляда в старенькой учительнице уже не осталось почти ничего монаршего, но она продолжала царствовать в своём однокомнатном королевстве: смиренно и кротко в обители прожитых лет и воспоминаний.

Как всегда, они сидели на кухоньке размером с кофейную чашку, только квадратную, пили крепкий чай с молоком и говорили-говори-говори... Сохранив ясный ум и светлую память, Агриппина Васильевна была удивительно интересным собеседником. Одиночество не сделало её, как большинство стариков, болтливой, скорее наоборот — сосредоточенной и самоуглублённой в своём пенсионном сиротстве. Она всегда умела прекрасно слушать, и сейчас страдала лишь от того, что не было у неё душевного собеседника, с которым можно было бы поделиться тем огромным запасом энциклопедических знаний, которые она хранила в своей голове и продолжала накапливать, читая и перечитывая — уже с увеличительным стеклом в руках — свою большую библиотеку, заново открывая всё новые и новые нюансы давно знакомых книг зарубежной, русской и советской классики, время от времени сверяя свой интеллектуальный багаж с изысками интернета.

— Как житьё-бытьё? — спросила, чтобы начать разговор, Анастасия.

Все поздравления и пожелания здоровья, — а что ещё можно пожелать в эти годы, кроме тривиального и несбыточного, но так необходимого здоровья и благополучия — были высказаны ещё у порога, и хрестоматийно учтивый вопрос был просто данью неписаному ритуалу.

— Житьё — битьё, голод — не тётка, бессонница — плетка: от всего ворочаться, уснуть не можешь. А так, всё хорошо. Диагноз — патологически неизлечимо здорова, — сострила Агриппина. — Расскажи лучше, как у тебя дела? Что в школе нового?

— Вот, очередная инновация: из программы убрали «Русский характер» Алексея Толстого...

— Некоторые девчонки прямо на уроке плакали, когда мы этот рассказ читали...

— ... зато теперь «лагерная литература» в почёте, — поморщилась Анастасия. — Так что «Колымские рассказы» Шаламова, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына будем изучать...

— А зачем их в школе изучать? — Вопросом на вопрос ответила Агриппина. — Ведь не к лагерной жизни за колючей проволокой вы детвору готовите. Мне на русскую литературу XIX века часов всегда не хватало. Сорванцов надо учить понимать слово доброе, светлое, дивное — русское слово. Ну, а кому надо, те и так про зеков прочтут. — И, подумав немного, произнесла:

— Впрочем, знаешь ли, в России тюрьма и зона от себя так просто не отпускают...

Учительница вопросительно посмотрела на собеседницу. Она знала, что старушка прожила трудную жизнь, но какую?

— Я ведь после университета свою преподавательскую работу в колонии начала. — Хозяйка уловила немой вопрос в глазах гостьи и продолжила.

— Представляешь, первый мирный выпуск послевоенного победного набора. Хотелось всю вселенную до дна ладонями вычерпать. А меня с красным дипломом распределили в таёжную глухомань. Тайшет называется — это недалеко от твоей родины.

— Да-да, знаю.

— А там — знаменитый Озерлаг, где Лидия Русланова часть срока отбывала... Певица такая была в Советском Союзе знаменитая, в поверженном Берлине у стен Рейхстага концерт давала.

— Песню «Валенки» пела, — утвердительно мотнула головой Анастасия. — После войны её вместе с мужем-генералом арестовали. За космополитизм что ли... и мародёрство. Потом оправдали.

— Ох не суди... Она ведь после русско-японской войны без родителей осталась, со слепой бабкой по миру пошла христарадничать. Потом и вовсе одна по приютам мыкалась. Голодное и нищее детство — на всю жизнь зарубка. Дар Божий — удивительной красоты и силы голос её спас. В тридцатые-сороковые годы она самой богатой артисткой СССР была, а к роскоши быстро привыкаешь. Вот и не удержалась, чтоб трофейного немецкого барахла не хапнуть... Не оправдываю, конечно, понять пытаюсь.

Она пригубила чашку, придерживая её подрагивающими руками.

— Короче, и меня туда же, на ту же зону — зекам русский язык и литературу преподавать... девчонку молоденькую, активистку, комсомолку. Ох и перетрусилась я тогда. Отец ведь у меня тоже по 58-й сидел, хоть и реабилитировали его потом.

— И как же вы?

Хотя они давно называли друг друга по имени, и Агриппина обращалась к своей младшей коллеге на «ты», Анастасия предпочитала, как научилась ещё в своём пионерском детстве в Артеке: к старшим — по имени, но на «вы».

— Так вот отец меня и выручил. О своей жизни на зоне он никогда не рассказывал, а тут... Прочитал мне лермонтовское «Смерть поэта» на лагерном жаргоне.

— По фене что ли? — изумилась гостья.

— Ну да... С этого я и начала свой первый урок.

— Да неужели такое возможно!?

— Представляешь, захожу в лагерный клуб, где занятия проводились, а там — полсотни с лишним уголовников сидит и все на меня уставились: сами с головы до ног в наколках, зубами скрежещут и молоденькую учительницу просто догола глазами раздевают... Ну я и выдала...

— Агриппочка, миленькая, расскажите, — взмолилась гостья, не в силах сдерживать любопытство. — Не представляю, как может звучать на зековском аргю «Погиб поэт! — невольник чести...»

— А вот так и будет:

*Урыли честного жигана  
И фориманули пацана,  
Маслина в пузо из нагана,  
Макитра набок — и хана!*

— Боже мой! — гостья едва не поперхнулась чаем. — А дальше, дальше...

Хозяйка лукаво улыбнулась — хитринка солнечным зайчиком прищурила глаз — и продолжила:

*Не вынесла душа напряга,  
Гнилых базаров и понтов.  
Конкретно кипишнул бродяга,  
Попер, как трактор... и готов!  
Готов!.. не войте по баракам,  
Нишкните и заткните пасть;  
Теперь хоть боком встань, хоть раком, —*

*Легла ему дурная масть!  
Не вы ли, гниды, беса знали,  
И по приколу, на дурняк  
Всей вашей шоблою толкали  
На уркагана порожняк?  
Куражьтесь, льбьтесь, как параша, —  
Не снес наездов честный вор!  
Пропал козырный парень Саша,  
Усох босяк, как мухомор!*

Агриппина перевела дыхание.

— Предупреждаю, теперь будет совсем не литературный текст.

— Давайте-давайте, — не унималась гостья. — Мы уже взрослые девочки.

— Ну, слушай:

*Мокрушник не забздел, короста,  
Как это свойственно лохам:  
Он был по жизни отморозком  
И зря вольной не махал.  
А хуль ему?.. дешёвый фраер,  
Залётный, как его кенты,  
Он лихо колотил понты,  
Лукал за фартом в нашем крае.  
Он парафинил всё подряд,  
Хлебалом щёлкая поганым;  
Грозился посишибать рога нам,  
Не догонял тупым калганом,  
Куда он ветки тянет, гад!*

— Ну и?.. — не сдерживала пылающего любопытства учительница. — Ведь там дальше у Лермонтова прямое обличение власти:

*Вы, жадною толпой стоящие у трона,  
Свободы, Гения и Славы палачи!  
Таитесь вы под сению закона,  
Пред вами суд и правда — всё молчи!..*

И Агриппина, словно подхватив поэтическую эстафету золотого XIX века русской литературы, перенесла её через лагерные бараки сибирского ГУЛАГа XX столетия напрямик в российскую столицу нового тысячелетия:

*Но есть ещё, козлы, правилка воровская,  
За все, как с гадов, спросят с вас.  
Там башили и отмазы не канают,  
Там вашу вшивость выкупят на раз!  
Вы не отмашетесь ни боталом, ни пушкой;  
Воры порвут вас по кускам,  
И вы своей поганой красной юшкой  
Ответите за Саню-босяка!*

— Bravo! — Не удержала свой восторг гостья и, как девчонка, захлопала в ладоши, имитируя бурные и продолжительные аплодисменты.

— Благодарю, — хозяйка театрально развела руки, затем сценично прижала их к впалой груди и, улыбаясь, игриво склонила голову в лёгком поклоне.

— А вот овации на зоне были запрещены, и свой восторг урки выразили топотом ног и урчанием сквозь сомкнутые губы. Знаешь, такой вот не то гудёж, не то вой, не то рёв какой-то, а откуда звук доносится — непонятно.

— И как на это отреагировало начальство лагеря?

— Ты не поверишь, но меня через два дня в оперчасть вызвали. Я тогда уже и с волей попрощалась. Сетку-авоську со сменой чистого белья приготовила и трёхдневным запасом продуктов. А там опер-гебист — такой душевный мужик оказался — фронтовик, седой весь, с одной рукой. Даже не спросил, откуда я такие стихи знаю — видимо, справки уже навёл про отца. Попросил только переписать ему это стихотворение и посоветовал, чтобы я не заигрывала со «спецконтингентом». Ну я и не заигрывала. По полной с них спрашивала и русский, и литературу. Даже двойки ставила, когда заслуживали.

— Так ведь уголовники чёрт-де что с вами сделать могли в отместку...

— Могли. Опер мне рассказал ещё, что предыдущая училка и месяца не работала — сбежала, — так её зеки достали.

— А вы?

— Я все три положенных года оттарабанила: от звонка до звонка и даже чуть больше. Меня отпускать не хотели. Четыре лишних месяца продержали. Спасибо тому чекисту: подсказал, чтобы я заявление руководству колонии написала: так мол и так — положенный срок отработала, а теперь замуж выхожу, жених в другом городе проживает. Так и уехала, хотя никакого жениха и в помине не было.

— А ученики как? В смысле отсидошники?

— Как на духу говорю: проблем с дисциплиной на занятиях у меня никогда не было. Сидели, как шёлковые. Тишина, словно ночью в церкви при покойнике: слышно, как душа отходит, а муха проползёт — словно копытами по барабану. Успеваемость, конечно, разная была. Они больше слушать любили, чем сами отвечать. Но диктанты и сочинения без мата и фени писали. Уже хорошо... Недели через три опять меня опер вызвал. Рассказал, что на своём общаке уголовники постановили меня не трогать и в обиду никому не давать. Оперативная работа там прекрасно была поставлена, чекисты всё про внутрилагерную жизнь знали. Но в те годы лишь один человек по этой зоне свободно ходил и никого не боялся — местный доктор. Ну и я второй такой смелой оказалась... Через год, правда, подкараулил меня какой-то бандюк из вновь прибывшего этапа. Я тогда едва жива осталась — спасибо, охранники с собакой случайно рядом оказались, выручили. А уркагана того через месяц, когда он из карцера вышел, мёртвым нашли. Бревном его придавило. Происшествие списали на несчастный случай, а опер мне по секрету шепнул: свои его порешили — ослушался, мол, воровского закона, вот и поплатился. Нравы за колючкой суровые...

— Расставались с заключёнными, небось, со слезами, — улыбнулась гостя.

— Слёз, конечно, не было. Но о том, что я уезжаю, они раньше меня узнали. У них тоже свои осведомители кругом были, и зековский телеграф исправно стучал. На последнем занятии лагерники попросили, чтобы я им стихи Есенина читала. Откуда они про него знали? Ведь он тогда почти запрещённым был. А у меня и сборника с собой не было, так и декламировала все сорок пять минут наизусть. В конце урока они, представляешь, мне икону подарили, сами из дерева вырезали — святую великомученицу Анастасию Узорешительницу — заступницу всех



заклоченных... Как они умудрились её сделать? До сих пор понять не могу, ведь ножи-то им строго-настрога запрещалось иметь. Я и сейчас её храню. Вон она, рядом с Казанской иконой Божьей Матери...

Агриппина перекрестилась. Перекрестилась и Анастасия, затем поднялась и вышла в комнату, чтобы лучше рассмотреть в красном углу божницу с небольшим иконостасом. В тлеющем свете лампы смотрела на неё с кедровой доски молодая большеокая женщина в хитоне и мафории. Ни в православии, ни в католицизме нет строгого канона изображения этого образа, но по кресту в правой руке и небольшому сосуду с узким горлышком в левой Анастасия уже давно и без труда узнала свою небесную покровительницу. Однако всё никак не могла спросить у хозяйки, откуда эта искусная и тонкая резьба, которую с точки зрения традиционного православного установления всё-таки лишь с большой натяжкой можно было назвать иконой. Одухотворённых ликов великомученицы и в богатых одеяниях знатной римлянки, и в простом чепце, и с венцом на голове, и с покровенной левой рукой, и с открытой дланью, обращённой к молящемуся, и со свитком, и с Библией, писанных в различной цветовой гамме мастерами каппадокийской, московской, новгородской, псковской иконописных школ, она видела много. Но эта аскетично тусклая икона с заморёно-тёмным, почти обугленным фоном и теплым ликом древесной желтизны с пробелами и тенями годовых колец поражала и очаровывала. Сострадание и вспоможение скорбящим христианским узникам, покровительство беременным и воспособление при родах, выбор пытки вместо богатства, чистота и непорочность, от которой слепли и гибли насильники, чудесное спасение несчастных узников на корабле с пробитым днищем — всё было в этом образе.

Гостья троекратно перекрестилась, поклонилась.

— А почему икона в раме, будто вытесанной из четырёх столбов? — Спросила учительница, вернувшись на кухню.

— По преданию Анастасию распяли между четырёх столбов и сожгли заживо.

— А я читала, что по приказу Диоклетиана ей голову мечом отсеки, но даже перед смертью она не отрелась от веры Христовой...

Помолчали, каждый думал о чём-то своём.

— Наверное, и начну урок о литературе за колючей проволокой с рассказа о святой великомученице Анастасии Узорешительнице...

— Только не забудь, что у нас церковь отделена от государства, а школа — от церкви, — напомнила хозяйка. — Хотя, я слышала, что где-то в середине девяностых по благословению нашего Патриарха Алексия II доставили на космическую станцию «Мир» две иконы. И обе — Анастасии Узорешительницы. Одна была православная, другая — католическая. Наша, как и положено, на доске писана, католическая шита по ткани; и сам Папа Римский Иоанн Павел II благословил её.

— В космосе уголовники появились или беременные? — съязвила гостья.

— Не ёрничай, милая. Думаю, это был политический жест, символ общности христианских корней Востока и Запада. Ведь на станции работали международные экипажи.

Она умолкла и после недолгой паузы продолжила.

— Ты знаешь, что сделай, — возьми шире. Проведи обзорный урок по русской острожной литературе, только акценты расставь правильно. Начни с XVIII века, с Александра Радищева.

— «Путешествие из Петербурга в Москву» — и так программное произведение... если из списка ещё не вычеркнули.

— А ты вспомни главный философский труд этого мыслителя, который он в Илимском остроге написал.

— «О человеке, его смертности и бессмертии»?

— Вот-вот! Подумать только, это пишет дворянин, которого за «вредные умышления» осудили на казнь и в последний момент заменили смерть сибирской ссылкой... — Глаза старушки, глубоко запавшие от прожитых лет и нескончаемых хворей, блеснули восторгом. — Его мысль об особом качестве человека — умении беспредельно совершенствоваться и безгранично развращаться — великого стоит. Особенно сейчас!

— Да уж, классика потому и классика — что на все времена...

— Те же декабристы. Сколько рукописей они оставили. Лунин, например. Готовил историю декабристского движения, за что и поплатился. То ли умер в тюрьме Акатуя, то ли убили. А какую замечательную библиотеку они в каторге собрали! Была там, кстати, такая занимательная история. Генерал-губернатором Восточной Сибири в то время служил м-м-м... — она потёрла лоб, пытаясь вспомнить фамилию.

— Лавинский, Александр Степанович, — напомнила Анастасия, сама обладавшая изумительной и цепкой памятью. — После восстания на Сенатской площади он участвовал в разработке циркуляра по надзору за проживанием декабристов на каторге и в ссылке.

— Точно, Лавинский. Так вот, по поручению Николая I, он должен был знакомиться со всеми книгами, которые декабристы получали на поселении. Ну, чтобы ересь какую или вольнодумство не допустить. И функции цензора генерал-губернатор исполнял отменно. А чтобы удостовериться сей факт, на форзаце каждого тома он собственноручно оставлял помету: «Читал. Лавинский». Но вскоре книг стало присылаться в Сибирь так много, что он физически не успевал их прочитывать, и в конце концов оставлял такой автограф: «Видел. Лавинский», — она хихикнула в кулачок. — Вот так цербер стал одним из самых просвещённых людей своего времени и после перевода в Петербург служил в Госсовете, стал действительным тайным советником. И это при том, что был незаконнорождённым сыном какого-то графа и карьеру начал почтмейстером в Вильно.

— Тогда в почёте знания были, теперь — междисциплинарные компетенции, — развела руками учительница и продолжила. — Чтение и вертухая облагораживает, а неволя писателя вдохновляет, даёт время подумать. Так что ли? Чернышевский за 77 дней в одиночке Петропавловки роман «Что делать?» создал. Пушкин сколько в ссылке написал! И как сознание Достоевского каторга перевернула! А Герцен... Маяковский тоже начал стихи сочинять в сто третьей камере Бутырского замка. Так что царская Россия — не только тюрьма народов, но писательский каземат, просветительский застенок, острог, куда через решётку музы проникают, каторга вдохновения, литературная шарашка...

— Не только Россия. Американец Уильям Портер свой первый рассказ под псевдонимом О. Генри тоже в тюрьме придумал... Чего уж тут... Об этом можно долго говорить и спорить... — вздохнула Агриппина. — Но лишь у нас XX век традицию продолжил и даже усугубил. Литература сплошь узилищная. Не по теме, конечно, по авторству. Кто только, где только и сколько ни сидел... А расстреляли сколько!?

— И какие имена! Гумилёв, Эфрон, Пильняк, Мандельштам, Кольцов, Гольдберг, Киршон, Артём Весёлый, Бабель... Цифру я где-то слышала: более четы-

рѣхсот поэтов, прозаиков, журналистов и драматургов за годы большого террора уничтожили.

— Разные это были литераторы, и по творческому уровню, и по политическим убеждениям. Понятно, что революционной власти была нужна новая идеология. Её и насаждали, попутно разрушая старую, а тех, кто против или сомневался — на расстрел или в отсидку. И ведь что обидно до боли, моральный кодекс строителя коммунизма — та же нагорная проповедь, но...

— Как же проповедь!?! — не удержалась Анастасия. — Там «Не убий», и убивали. «Не судите, да не судимы будете», и судили...

— В том-то и есть великая трагедия: и судили, и казнили, потому что невозможно проповедь без Бога. А без сути божественной из проповеди получился кодекс... Идея-то благая была — создать рай земной. Не обитель богатства, роскоши и безделья, а горний край всеобщего равенства, братства, справедливости, труда на всеобщее благо, счастья и любви к ближнему, высокой нравственности.

— Утопия это... И нельзя ради всеобщего блага вот так просто взять и десятки тысяч людей в расход, — горячилась Анастасия. — Представляете, какой могла бы быть наша советская литература! Я вот недавно публицистику Евтушенко читала. Он процитировал всего одно двустишие: «...и по улицам кровь детей / текла просто, как кровь детей». А дальше отметил, что если бы автор за всю свою жизнь написал только эти две строчки, то уже мог бы считаться гением. Это о сборнике «Испания в сердце» чилийского поэта Пабло Неруды о гражданской войне в Испании.

— Ты это к чему?

— К тому, что, наверное, каждый писатель мог бы оставить нам в наследство хотя бы несколько бессмертных строк. А им не дали этого сделать...

— Власть тяжело с поэтами уживается. Самого Данте Алигьери к костру приговорили, и ведь сожгли бы... Из-за этого он треть жизни в изгнании провёл, умер на чужбине, так и не увидев родной Флоренции. Весь мир его «Божественной комедией» восхищается, а подлинного портрета писателя так и не осталось...

Агриппина неспешно налила в опустевшую чашку заварки, разбавила кипятком, добавила молока и задумчиво посмотрела, как расплзается и окрашивается чайной желтизной белое дымчатое облако.

— А знаешь, что сказал Сталин, когда прочёл повесть Платонова «Впрок»?

— ???

— «Талантливый писатель, но сволочь». Самого автора не арестовали, страшнее удумали: сыну его десятку влупили. Через два года парня освободили, а ещё через три, уже в войну, он умер от туберкулёза... в лагере заразу подцепил.

— Что делать... Литература должна была стать партийной, — вспомнила Анастасия когда-то знаменитую ленинскую фразу.

— Разные у нас были литературы. Интеллигентская «серебряного века» со своим упадническим декадансом, авангардно-эпатажным футуризмом, гранёным акмеизмом. А молодой советской республике не изысканная жеманность утончённой лирики для узкого круга эстетствующих аристократов была нужна, а пролетарский соцреализм для трудовых масс. В годы войны именно он породил свинцовую поэзию и прозу, на пожарищах вскипевшую и со штыка народ вскормившую отвагой и ненавистью к врагу... Эк меня в пафос понесло, — усмехнулась Агриппина.

— Но, согласитесь, время отовсюду выбирало лучшие произведения.

— Так-то оно так, да не совсем так... Горят, горят, к сожалению, рукописи, и даже отпечатанные тиражи в топку летят. А самое главное — не дано нам знать, какие литературные шедевры могли родиться, если бы на колоде головы не секли, да к стенке людей не ставили... Шаламов и Солженицын хоть живы остались, а скольких — в расход, книги — под нож и забвение на многие годы, — сокрушалась Агриппина. — И ведь в чём парадокс! При старом-то при прижмем того же Бабеля должны были судить за порнографию и кощунство. От тюрьмы его Октябрьская революция спасла. Спасла, чтобы расстрелять в 1940-м. — Она задумалась, вспоминая что-то. — Киришона ты вот упомянула. Он с 16 лет в Красной Армии, участник гражданской войны. Рупор пролетарских писателей! Борец за идеалы социализма! До войны его пьесы с аншлагами шли в лучших театрах СССР. Это он вывел на сцену героя-рабочего. А как искренне «классовых врагов» обличал — Булгакова, Лосева... Что в итоге? Самому только-только 35 лет исполнилось, как его арестовали — троцкист. До 36 лет он уже не дожил — расстреляли, потом реабилитировали. А что из его наследия осталось, что помним? «Я спросил у ясеня, где моя любимая...» в фильме «Ирония судьбы», — вот и всё...

— Михаилу Кольцову больше повезло. Его под именем Каркова увековечил Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол», — добавила Анастасия. — За репрессированным писателем мне всегда хотелось увидеть и понять человека, да, именно личность человека, который отбыл срок, не сломался и продолжал творить.

— Ой, примеров-то сколько угодно. Вспомни ту же Ольгу Берггольц. Кстати, её первый муж — Борис Корнилов, расстрелян в 1938. Тоже троцкист. Подумать только, поэта к стенке ставят, а вся страна песню на его стихи с задором горланит: «Нас утро встречает прохладой, / Нас ветром встречает река...», — напела она своим слабеньким голосом и закашлялась. Но, восстановив дыхание и уняв кашель, продолжила, подражая дикторам или конференсье тех давних лет: — «Песня о встречном». Музыка Дмитрия Шостаковича, слова на-род-ны-е... Вот так в смерти жизнь бьёт ключом...

— А слова, и вправду, народными стали...

— Потом и до Берггольц руки дотянулись. Было такое дело «Литературной группы» в Вятке. А её в Ленинграде в Большой Дом на допросы в связи с этим таскали, беременную. Из-за этого она в 1937 году ребёнка потеряла едва родившегося, а через год прямо в камере родила, мёртвого...

— Бог мой...

Обе женщины перекрестились, молча поминая всех невинно убиенных.

— Вроде и недолго в тюрьме была, меньше полугода, но чего это ей стоило, — продолжила Агриппина. — А ведь до этого у неё ещё две дочки умерли: одна в семь лет, другая в годик.

Анастасия слушала и не перебивала, хотя знала многое из того, о чём рассказывала именинница. Ей даже показалось, что, говоря о тюремных мытарствах знаменитой советской поэтессы, её старшая подруга думает о чём-то своём. Вот только о чём? Да какая разница... И учительница слушала, не мешая своей собеседнице говорить, и думать, и вспоминать.

— Её освободили, а через год она вступает в коммунистическую партию и вместе с мужем остаётся в осаждённом Ленинграде, хотя могла эвакуироваться. Муж через год умирает от голода, а она стихи пишет. И какие стихи — пронзительные до боли.

И, прикрыв глаза, будто в темноте видела голодом и кровью рождённые строки, стала читать:

*Я как рубеж запомню вечер:  
декабрь, безогненная мгла,  
я хлеб в руке домой несла,  
и вдруг соседка мне навстречу.  
— Сменяй на платье, — говорит, —  
менять не хочешь — дай по дружбе.  
Десятый день, как дочь лежит.  
Не хороню. Ей гробик нужен.  
Его за хлеб сколотят нам.  
Отдай. Ведь ты сама рожала...  
И я сказала: — Не отдам. —  
И бедный ломоть крепче сжала.  
— Отдай, — она просила, — ты  
сама ребенка хоронила.  
Я принесла тогда цветы,  
чтоб ты украсила могилу. —  
... И, одержимая, она  
молила долго, горько, робко.  
И сил хватило у меня  
не уступить мой хлеб на гробик.  
И сил хватило — привести  
её к себе, шепнув угрюмо:  
— На, съешь кусочек, съешь... прости!  
Мне для живых не жаль — не думай.*

— Как всё просто, страшно и откровенно... Ни патетики, ни фальши, ни героики квасной, — вздохнула гостья.

— После войны её, кстати, критиковали — как раз за отсутствие героизма в стихах. А скажи мне, какой героизм может быть выше, чем у того шофера, который в стужу вёз хлеб в Ленинград через Ладогу, и двигатель заглох?

И опять, смежив веки, она стала читать по памяти фрагмент «Ленинградской поэмы»:

*И вот — в бензине руки он  
смочил, поджег их от мотора,  
и быстро двинулся ремонт  
в пылающих руках шофера.  
Вперед! Как ноют волдыри,  
примерзли к варежкам ладони.  
Но он доставит хлеб, пригонит  
к хлебопекарне до зари.  
Шестнадцать тысяч матерей  
пайки получают на заре —  
сто двадцать пять блокадных грамм  
с огнем и кровью пополам.  
...О, мы познали в декабре —  
не зря «священным даром» назван  
обычный хлеб, и тяжкий грех —  
хотя бы крошку бросить наземь.*

— А у нас тут в пятом классе чаепитие в честь 8 Марта устроили. — Вдруг вспомнила Анастасия, подчиняясь неведомым законам ассоциативного мышления. — Так эти «дети индиго», потомки «поколения пепси и жвачки» вздумали кусками торта бросаться... Насилу успокоили. И знаете, чем больше всего мамашки раздосадованы были?

— ???

— Тем, что новые платья кремом испачкали...

— Мне отец всегда говорил: «Боженька камушком ударит, если будешь хлеб бросать». Во время войны в далеком тылу нам, школьникам, по карточке 350 граммов хлеба давали и ещё 150 — на швейной фабрике, где мы наволочки и простыни для госпиталей строчили, потом научились шить нижнее бельё, гимнастёрки, галифе и даже шинели. В первый военный год девчонки шестых-седьмых классов там работали после занятий с трёх часов дня и до девяти вечера, мальчишки на военных заводах трудились... — И, возвращаясь к прежней теме разговора, вспомнила:

— Осип Мандельштам от голода умер в пересыльном лагере в конце декабря 1938 года. Кажется, всего две недели не дожил до своего дня рождения. Хармс в тюремной больнице «Крестов» скончался.

— По нерасстрельным статьям ещё около 250 писателей арестовали. Многие их них так и сгнули за колючкой, — подвела итог скорбному мартирологу Анастасия. — Мне иногда кажется, что если бы Христа распяли не в Иудее, а в России, то крест был бы сплошь утыкан гвоздями и увит колючей проволокой. А вместо надписи «Иисус Назарянин, Царь Иудейский» — коротко и ясно: «Враг народа». И гора бы называлась не Голгофа, а Секирка.

— Слава Богу, всё-таки были те, кто выжил. Лауреатами госпремий становились, ордена, медали получали, теперь по их книгам детей учат, — не говорила, а словно размышляла вслух Агриппина. — Пришвин, Бианки, Чуковская, Рыбаков, Некрасов, Алешковский, Смеляков... Калмыцкий поэт Давид Кугультинов Героем Соцтруда стал... и это после десяти лет лагерей. Дмитрий Сергеевич Лихачёв тоже звание Героя получил и лауреата Сталинской премии. А до этого на Соловках нары грел...

— О-хо-хо... А Некрасов это который?

— Автор «капитана Врунгеля». Был такой советский аналог барона Мюнхгаузена, только моряк. Ребяшня зачитывалась его путешествиями. Даже мультфильм сняли, более десятка серий.

— Да, вспомнила... А Смелякову я бы всё простила только за одно стихотворение. Помните:

*Постелите мне степь,  
Занавесьте мне окна туманом,  
В изголовье поставьте  
Упавишую с неба звезду.*

— Ну, конечно.

И Агриппина продолжила, выбрав любимые строки из того же стихотворения:

*Забинтуйте мне голову  
Русской лесною дорогой  
И укройте меня  
Одеялом в осенних цветах.*

— Если бы, не приведи Господь, расстреляли Смелякова в конце тридцатых, как его друзей-поэтов Васильева и Корнилова, то и не было бы этих стихов.

— Во время Отечественной войны он ещё и к финнам в плен попал, а после освобождения его снова в наши лагеря законопатили.

— Неужели великая литература рождается только в страданиях на дыбе, плахе и в застенке?

— Нет. Хорошие книги не только в муках пишутся, но и в любви. Вспомни ту же Берггольц: «Что может враг? Разрушить и убить. / И только-то? / А я могу любить...» Вот так она и выдирала свои стихи из недр души... Главное, чтобы узилище не сгубило человека и всё прекрасное в нём не сломало...

— Из таких людей не то что гвозди — рельсы делать можно. Не согнуть, не сломить...

— Ломали, ещё как ломали... Только надлом этот внутри человека оставался, в душе, в мозгах, в сердце, в памяти его и его потомков. Со стороны не видно, а он болит и болит, и ох как трудно срастается. Да и срастается ли? Просто очень глубоко свои раны прятать научились. Почитай дневники той же Берггольц, поймёшь... Её запои тоже не на пустом месте начались.

«А ведь она права, — подумала Анастасия. — И далеко не всегда время лечит. Кого-то, может быть, и лечит; кого-то — калечит. Наверное, прожитые годы просто погружаются во вселенский свищ тяжёлых воспоминаний и боли, но так и не могут зарубцевать эту рану, хоть как-то затянуть её. А ведь ещё и страх был, ужас космоязыческий за себя, за близких своих, за друзей...»

— Одних гнобили за то, что мужика-трудягу христоролюбивого воспевали, других — за то, что этого же мужика сиволапого презирали. А сколько сейчас прекрасных писателей не востребованными оказались! И классиков наших, и современников.

«Зато примитив на слуху, чушь какая-то несусветная; что ни чтиво, то пена вонючая — распутная девка в алтаре храма русской словесности: косноязычная, скудоумная, зато с понтами, в балаклаве и без трусов...», — уже мысленно продолжила гостя диалог с именинницей.

Учительница потёрла виски, пытаясь, как ластиком, стереть эти тягостные раздумья, и, чтобы сменить тему, спросила:

— А я всё думаю, почему наша великая литература дала всего шесть нобелевских лауреатов? Англоязычных авторов — аж 29! Французов — 14, немцев — 13...

— Из этих шести наших, трое — как выразился Бунин — «русские изгнанники»: сам Бунин, Солженицын и Бродский. Причём, двое последних на родине подверглись гонениям. А как Пастернака травили после решения шведских академиком! Изгнали из Союза писателей СССР и фактически заставили отказаться от получения премии. Недавно Алексиевич получила награду, но уже как белорусский автор, хотя и пишет на русском языке. Вот и остаётся только один Шолохов...

Слушая подругу, Анастасия посмотрела в окно. Редкий случай — вечернее небо стало вдруг чистым. Светила Луна — волчий идол, на которого то ли с тоски, то ли со страху воют в тайге серые хищники, чужья смерть, а в Москве — городе высокой культуры и столице собачьего дерьма — завывали бродячие кобели и сучки всевозможных пород и сословий.

— Да Бог с ней, с Нобелевкой. Она не критерий, — продолжила Агриппина. — Толстого Льва Николаевича сколько раз выдвигали, и всё мимо. В конце концов он сам попросил не присуждать ему эту премию. Горький — пять раз номиниро-

вался. Бальмонт, Шмелев, Мережковский, Бердяев, Набоков... Кто ещё? Ах, да, — Леонов, Евтушенко и ещё несколько наших писателей тоже были соискателями. Я уже не говорю о Чехове, Блоке, Маяковском, Брюсове, Ахматовой, Мандельштаме, Цветаевой, Булгакове... О них шведский комитет будто и не знал, но эти авторы на десять голов выше многих лауреатов...

— Черчилля, например. Он что, великий писатель? А ведь тоже её получил... Нобелевка по литературе всегда была скорее политической, нежели творческой.

— Часто, но не всегда. Были исключения. Тут объективности ради должна я тебе возразить. Тот же Пабло Неруда: и сталинскую премию получил, и защитников Сталинграда восславил, и «Песни любви Сталину» сочинял, и все соцстраны объездил, и кубинскую революцию принял, и даже членом компартии Чили до конца жизни был... Тем не менее, дали ему Нобелевскую премию по литературе, заслуженно дали.

Она перевела дыхание.

— Знаешь, устала я что-то. Пойду, полежу немножко. Только ты не уходи, посиди со мной рядышком, поговорим ещё.

Анастасия только сейчас почувствовала, какой звенящей тоской отзывалась боль во всём облике этой удивительной старушки: в сутуло-острых плечах, глубоко ввалившихся глазах, впалой груди, беспокойных старческих, будто мраморных руках с синюшным отливом выступающих вен.

Агриппина поднялась, придерживаясь за стол, и шаркающей походкой вдоль стеночки побрела к кровати. Анастасия взбила подушки, помогла прилечь старушке, заботливо укрыла её покрывалом.

— Ох, рай-раюшко, притулиться бы с краюшку, — благодарно улыбнулась Агриппина, удобно угнездившись в постели. — Мне в последнее время война вспоминается и даже снится иногда. К чему бы это?

Собеседница пожала плечами, не зная, что ответить на этот немудрящий вопрос.

— Многие школы в нашем городе тогда переоборудовали в госпитали, а дети учились в заводских клубах, домах культуры, даже в бомбоубежищах.

Волна воспоминаний подхватила и понесла рассказчицу в далёкую-предалёкую долину её детства.

— Нас, шести- и семиклассников, на всё лето вывозили за город на полевые работы. Жили в сельских школах, коровниках, подсобках разных. Нары сколотили, матрасовки сеном или травой набили — вот и весь сервис. Сейчас бы сказали: «Отель — минус двадцать пять звёзд» и туча комаров в придачу. Вставали в шесть. На завтрак — пол-литровая кружка молока, 300 граммов ржаного хлеба, — и на работу. В обед — суп-не-суп, баланда постная — голоду крёстная — с крупой, травой и картошкой, и ещё сто граммов хлеба. Работали до девяти, а то и десяти вечера. На ужин — какая-нибудь каша-размазня и та же стограммовая чёрная краюха. А работа — обычная, сельская. Сорняки пололи: «Сорняк — враг! Долой с поля сорняк!» — вспомнила она придуманный кем-то из детей клич. — Картошку окучивали, а по осени копали; пацаны наши траву косили, а когда подсохнет, на волокушах стаскивали. Мы её самодельными деревянными вилами-трезубами переворачивали для просушки, в стога смётывали, зароды ставили. Нормы большие были. К вечеру — все ладони в волдырях да кровавых мозолях. Только потом руки огрубели, на ладонях — даже не мозоли — ороговевшие коросты выросли. Учителя наши — один на тридцать-сорок человек — вместе с нами работали, а вечером наливали в таз воду, разводили соду, чтобы мы руки смогли хоть как-то продезинфицировать... Зубы не чистили, серу листовничную жевали. Помогало...



Она говорила негромко и неторопливо: это была удивительно гладкая и мягкая речь без швов и разрывов, словно тему новую притихшему классу объясняла, или книгу вслух читала — летопись своего бытия. Её будто бы уже и не трогали земные копошения большого города за окном, порою казалось, что и к жизни она уже не причастна. Но это лишь казалось. Вернувшись напоследок в своё прошлое, она была преисполнена одним желанием: хоть кому-то рассказать о пережитом. И не исповедь это была, не обиды сорок сороков за выпавшие на её долю несчастья, а житие — простое и безыскусное.

Анастасия не отрываясь смотрела на свою старенькую собеседницу — белую на белых подушках. Жизнь ещё теплилась, но её огонёк уже остывал, и обе подруги это чувствовали.

— Домой нас отпускали отдохнуть и помыться раз в полмесяца на один день. Машин нет, подвод нам не давали, а до города — 20-25 километров. Шли пешком по грунтовым дорогам (асфальта и в помине не было, гравиек очень мало), стайками по три-четыре человека, и босиком — обувь берегли, она ведь самым большим дефицитом была. Ноги — в кровь. Дедок какой-то древний из местных — поклон ему земной — как увидел такое, так и надоумил нас перед дорогой мазать голые ступни сосновой смолой. К ней песок прилипал, глина, иголки, трава, прошлогодние листья, вот и получалось что-то вроде подошвы. Нефорсисто, зато ноги целы. Дома нас матери отпаривали, мыли-скоблили с содой, с мылом, да со своими горючими слезами, и мы весь оставшийся день и всю ночь отсыпались. А утром — опять пешком в дорогу, к своим одноклассникам на сельхозработы... Молодые были, здоровые...

Рассказчица взяла с прикроватной тумбочки салфетку, промокнула слезящиеся глаза.

— Помню, однажды в середине сентября ранний снег выпал — всю ночь шёл, густой такой, липкий, тяжёлый. От этой напасти хлеба полегли. Утром нам объяснили, что ждать ни дня нельзя — зерно осыплется, и мы в стужу вилами снег стряхивали, колосья поднимали, чтоб можно было косовицу провести и хоть что-то спасти. Вот таким он был — военный хлеб снежного поля... Сейчас об этом уже никто и не помнит, а ведь в те годы страну и армию не только женские, но и детские руки кормили. Ну и ленд-лиз тоже немного помогал... Домой мы возвращались только к октябрю, когда картошку всю выкапывали, и сразу за парту. Лучшим из нас торжественно, на общешкольной линейке у красного пионерского знамени вручали грамоты.

Она посмотрела в потолок, будто текст там увидела и прочитала: «...победителю в социалистическом соревновании по сельскохозяйственным работам на колхозных и совхозных полях за высокие показатели и отличное качество работы по уборке военного урожая».

— И, знаешь, — она перевела взгляд на сидящую рядом подругу, — не было для нас в тот миг ничего радостнее, дороже и почётнее этой награды — простого листка бумаги с портретами Ленина, Сталина и гербом СССР.

— Агриппиночка, милая, напишите это всё. Ведь это так интересно... Время идёт, люди уходят, и кто же...

Гостя осеклась, прикусила язык, сконфузилась, поймав себя на бестактной фразе о том, что «люди уходят». Её собеседница улыбнулась, сделала вид, что не придавала значения этой оплошности, не обиделась, только вздохнула глубоко.

— Ладно тебе, не тушуйся... Наверное, ты права... Вот умру я, и умрёт вместе

со мной весь мой мир. — И опять горестная улыбка. — Но, поверь, вселенная от этого не станет беднее.

— Ну, как же не станет! — горячо возразила Анастасия. — Она оскудеет на одного хорошего человека... И это трагедия... Нам всем будет вас не хватать, потому что убавится доброты, любви, знаний...

— Все знания остаются в книгах, теперь ещё и в интернете, доброта и любовь — в других людях, которые сейчас живут и ещё нарождаются.

— Кто знает... А вдруг с ними появится и новое зло?

— Злыми не рождаются, злыми становятся... Но я, наверное, не точно выразилась: с моей смертью исчезнет моё представление о мире.

— И это не так. Вспомните, сколько учеников впитали ваше представление о прекрасном и передадут его своим детям, внукам, правнукам, а те — своим.

— Ну, дай-то Бог...

Вероятно, тема смерти острее воспринимается стариками, молодые о ней просто не думают. И на исходе жизни о могиле думают чаще, и каждый по-своему: кто со страхом, кто философски сдержанно, кто с горечью и сожалением. У Царицы Агриппы было своё ощущение неминуемого.

— Самым страшным для всех нас испытанием в детстве был не тяжкий труд, не разлука с домом, а похоронки с фронта. — Она вновь заговорила о прошлом. — О гибели отцов, старших братьев, дядьёв мы чаще всего узнавали во время наших суточных побывок. Матери, забившись в угол, вопили по погибшем, тайком молились о живых и часто скрывали от детей похоронки. Но у худой вести широкие крылья, быстро она разлетается и хлещет всех без разбору — и старого, и малого. Вот, почитай, каждый километр той обратной дороги детскими слезами пропитан. По ночам девочки ещё долго скулили, уткнувшись в свои сеном набитые тюфяки. Плакали тихонечко, чтоб не разбудить кого, ведь завтра опять с первыми лучами солнца на работу подниматься. Потом ещё несколько дней слёзы по щекам размазывали, хлеб, суп да кашу ими солили. Мальчишки крепились, горя своего старались никому не показывать, только смурели, губы в кровь кусали, да в работе степенели. Но ночью и они своему горю давали волю, опять же тихонечко, чтобы других не будить и душу им не травить. Некоторые пытались на фронт бежать, чтобы мстить за погибших. Но, куда там... шестой-седьмой класс ведь только окончили. Их, конечно возвращали, объясняли, что вот здесь их передовая линия борьбы с фашистами, на колхозном поле...

— А в восьмом классе как учились? Ведь не только занятия в школе были?

— Мальчишки — на заводах, а мы должны были встречать на вокзале санитарные эшелоны с ранеными. Цепочки у нас были созданы по оповещению друг друга, помнишь, как у Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». День, ночь — без разницы. Поезд ещё на подходе, а нам по цепочке уже сообщили, и к приходу состава группа девочек уже на вокзале. Во многих школах были организованы курсы медсестёр. Опытные санинструкторы учили нас перевязывать раненых, показывали, как бельё сменить, утку подложить, подмыть солдата, когда и какие таблетки дать, как перевернуть, напоить, покормить. Мы всё это умели делать. Конечно, конфузились поначалу. Шутка ли — девочке голого мужика увидеть, задницу ему после утки подтереть. Потом привыкли, раненых много было. С фронта поезд до нас неделю шёл, а то и дольше. В вагонах грязюка несусветная, вши, блохи. А из obsługi — всего одна медсестра и две нянечки на один вагон, да два-три врача на весь эшелон. Мы раненых из вагонов вытаскивали, — четыре

девчонки на одни носилки. Вдвоём не получалось — сил не хватало. Несёшь этих солдатиков — защитников Родины, а они такие беспомощные и жалкие: без руки, без ноги, с проникающими ранениями, и все грязные, в бинтах кровавых, а в швах одежды и особенно почему-то в валенках — вши, словно муравьи, копошатся. Сейчас такое и представить себе невозможно. Прямо на вокзале была поставлена дезобаня, и мы раненых в предбанник несли, там снимали с них всю одежду, чтобы потом её сжечь, и вместе с дежурной медсестрой обмывали этих солдат, перебинтовывали, надевали на них чистое бельё, одежду и развозили по госпиталям.

— А учителем как вы стали?

— Да я ведь в школе начала работать, ещё и десятилетки не закончив. Война за свой меридиан перевалила, но мы-то тогда этого не знали. Учителей катастрофически не хватало: мужчины-педагоги на фронте, да и женщины уходили — кто в армейский медсанбат и тыловые госпиталы, кто на военные заводы... И нас, начинающих девятиклассников-отличников и хорошистов, мобилизовали с 1 сентября 1943 года на семимесячные педагогические курсы по подготовке учителей для начальных классов. С восьми утра и до двух часов дня мы учились в девятом классе, а с трёх и до десяти вечера — педагогические курсы. Школьные уроки делала и к курсам готовилась ночью: изучала программу начальных классов, методику обучения, педагогику.

— Дети войны... судьбы-то все искорёженные, ломанные-переломанные... — Анастасию захватили воспоминания подруги. Она словно окунулась в боль и заботы тех страшных лет. — Тяжело с ними было?

— Раньше в школу брали с восьми лет, во время войны стали принимать с семи, и в первых-вторых классах было очень много ребятшек. Поначалу эвакуированные приезжали — чаще всего матери с детьми, а потом — сирот стали везти, особенно из освобождённых и прифронтовых районов. И, удивительно, я не помню детского нищенства и беспризорников, их почти не было. Детей определяли в детские дома, школы-интернаты, но ведь и многие семьи усыновляли сирот. В те годы как рассуждали: «Раз у меня есть двое-трое своих детей, то я и четвертого прокормлю»... Хоть и сами спали на полу, телогрейкой укрывшись, но усыновлённый ребёнок был обласкан, за его учебой следили, через месяц-полтора он входил в семью, и у него появлялись новые сестры и братья, с которыми он был на равных. Жили мы в бараках да коммуналках, все работали, а за малышней, кто ни в детсаду, ни в яслях не был, сосед — старичок-пенсиянер присматривал или бабулечка какая. И кормили они свою мелюзгу — голоштанную гвардию, и книжки им читали, и спать днём укладывали.

— Строишь сейчас по телевизору дворцы наших буржуев: золото, картины, хрусталь кругом, мебель из чёрного и красного дерева, в бассейне крокодил с бегемотихой плещутся, на плавающем подносе харч и пойло заморское... И всё-то у них есть, кроме детей...

— А нас чувство локтя спасало, потрясающая взаимопомощь между людьми. Да ещё в Сибири все военные годы урожайные на картошку были. Благодаря этому и выжили.

Агриппина помолчала, будто собираясь с мыслями.

— Курсы я окончила в апреле, в мае на пятёрки сдала все школьные экзамены за девятый класс. Помню, с какой жадностью мы учились! Не просто на уроках время просиживали, — каждое слово учителей проглатывали. И образование было прекрасное.

— Я дико удивилась, когда узнала, что во время этой страшной войны — когда смерть, голод, холод, нищета и «Всё для фронта, всё для победы!» — государство выделяло на образование пять процентов ВВП. Сейчас и войны нет, и нефть зашкаливает — отстёгивают чуть больше трёх... Потому, наверное, и образование троечное... Ладно, Бог с ними, и с процентами, и с ВВП... А после курсов что?

— Всех распределяли по школам города и пригородов. Меня направили в центральную городскую школу во второй класс. К первачкам нас не пускали, они считались трудными и тяжёлыми для начинающих учителей, тем более после ускоренных курсов. Представляешь, я, девочка с косичками, ученица 10-го класса, стала педагогом, пришла учить второй класс. Когда мамы об этом узнали, стали переводить детей к другим, более опытным учителям. Потом обратно просились, но я уже не всех взяла, в моём классе и так более тридцати человек было. Нагрузка огромная, детвора неугомонная, эгозистая — у каждого шило в попе. Именно тогда я научилась даже хребтом класс чувствовать. Стоишь, на доске мелом пишешь, глаза вперёд смотрят, уши слушают справа и слева, а затылок и спина следят, что позади тебя происходит... Да и знала, какой фортель от этих шалопаев ожидать можно, ведь по сути, сама ещё школьницей была.

Она вновь замолчала, закрыла глаза, вороша память о былом.

— Мне даже пришлось бросить десятый класс. Все предметы экстерном сдала, на «отлично». Поэтому сразу после войны меня без экзаменов приняли на историко-филологический факультет университета. Это был 1945 год.

Она замолчала, будто устав от вала воспоминаний, или обдумывая, что ещё рассказать.

Чтобы поддержать собеседницу, помочь ей, Анастасия спросила:

— У вас же была большая семья?

— Да, семь детей, я — младшенькая. Папа с мамой смеялись: «Наша семья — семь таких же, как я», и тыкали себя пальцем в грудь.

— Как же вы войну пережили?

— Очень тяжело... В СССР был Фонд Всеобуча, который помогал особенно нуждающимся семьям в приобретении одежды, зимней обуви, учебных принадлежностей. Вот так и выжили, перебиваясь с подножного корма на то, что Бог пошлёт да государство выделит. Тогда выжили, а сейчас уже никого нет. Из всей родовой я одна осталась, за всех доживаю... А зачем? Тяжело это очень: родных хоронить, а самой продолжать жить. Лучше бы Господь забрал мои годы, да распределил между всеми нами поровну.

— Нельзя живым с умершими упокоиться, — возразила Анастасия. — Мёртвым — земля пухом, живым — жизнь.

— Так-то оно так... Но несправедливо это. Отец вот в ГУЛАГе уцелел, с фронта хоть и раненым, но живым вернулся, недолго, однако, пожил... Муж мой... не вынес демократических реформ новой экономической формации, умер ещё в начале девяностых, хотя и был ненамного старше меня. Да и не он один. В ельцинский сатанинский шабаш почти по миллиону в год давали дуба, куда там сталинским лагерям... Так уж повелось: на Руси мужики быстрее ломаются... Потому, наверное, держава наша, как ни назови, а всё равно женского рода: Московия, Русь, Кривия, Россия... Теперь вот Рашкой костерячат... Был, впрочем, Союз Советских Социалистических Республик, вот и не дожил до векового юбилея, даже до семидесяти пяти лет не дотянул. Всё потому, что мужского рода...

Она помолчала.

— Чего уж тут... Попусту трепаться, что на гвоздь нарываться: все хохочут, а тебе иногда так больно становится... Знаешь, когда сын попал в тюрьму, я места себе не находила, заплутала в кошмаре собственного ужаса, даже грех на душу взяла — поехала на Киевский вокзал, нашла там какую-то старую цыганку и попросила её на Вовку моего погадать, что с ним будет, вернётся ли из отсидки. Она даже на ладонь мою протянутую не взглянула, сказала только: «Умрёт он», и убежала, как от прокажённой. И не оглянулась, и денег не взяла... Я не поверила ей тогда, не могла верить. Подумала только: «Пусть лучше я сгину, лишь бы сын остался жив»... Кто бы знал, как хотелось мне утолить горе своё жадной мечты и обретением счастья. Ведь всего-то и нужно было мне, чтобы сын вернулся. И жила, и ждала, и надеялась на чудо, как дитё малое. Но оно не случилось. Ни днём, ни даже в новогоднюю полночь миллениума, когда в лунном свете весь мир волшебством наполнен, и под бой курантов да в лавине фейерверка все мечты сбываются... Не получилось... Умер он скоростижно от крупозного воспаления лёгких... А ведь ещё и жениться не успел, и детей не нажил... Вот теперь я одна и прозябаю в окружении смертей всех родных и близких...

Она говорила спокойно и тихо, как о давно пережитом. Анастасия слушала и молчала. Что тут скажешь? Утешать — поздно, разве что посочувствовать... Но подумалось ей, что внимательное молчание, искреннее сопереживание, которое не передать никакими словами, и есть сейчас лучшая форма сострадания. Как-то давно она слышала эту криминальную историю: ползи ниоткуда мерзкие слухи и наветы, загаживая многие головы, но спросить об этом у самой Агриппины она всё никак не отваживалась, боялась, наверное, показаться неudelикатной, излишне любопытной и докучливой. А та сама не рассказывала, — значит не надо было, время не пришло. А вот теперь час пробил.

Гостья молча поправила подушки.

— Спросить, наверное, хочешь, за что сын в тюрьму попал? — угадала старушка.

Анастасия кивнула.

— За поджог озера, как зеки говорят... Всё до обидного примитивно и тривиально. Бизнес у него свой был и довольно успешный, с инновационными технологиями связан. Вот и решили менты, или, как их сейчас называют — полицаи, его дело к рукам прибрать: крышу свою навязать, чтобы откаты в фуражку складывать. А он отказался. Поначалу они его проверками кошмарить стали, — не получилось. Тогда наркотики ему подбросили. А он наивный был, в демократию свято верил, в честный, справедливый и неподкупный суд. Вот так и оказался за решёткой... Я тогда продала всё, что ценного у меня было, квартиру нашу — старую трёшку — на эту вот халупу поменяла, с доплатой, чтоб хоть как-то ему помочь. Куда там... Где сила божья не справляется, там бесовщине всё удаётся...

— Оно всегда так было. Сейчас трое из четырех преступников носят крест на шее и даже в церковь ходят, свечку, как стакан водки, держат. А для чего, о чём они молят Всевышнего? Дабы при совершении ими очередного злодеяния помог Господь всемогущий в их окаянстве, и чтобы наказания заслуженного избежать. И ещё на всякий случай: а вдруг и вправду на том свете есть ад. Вот тогда и поможет крестик вместе с нехилыми пожертвованиями в церковную кружку избавиться от вечных мучений в геенне огненной...

— К сожалению, ты права. Такая вера — и не вера вовсе. Это богохульство и мерзость... Как-то в душевном разговоре с батюшкой порадовалась я, что сейчас

храмы стали возрождать, новые церкви строить. А он посмотрел на меня с укоризною и произнёс: «Да, бесчётно на Руси грешников, многие хотят окаянство своё деньгами отмолить. Отмолить, но не раскаяться. А молитва без покаяния — не более чем кощунство, лицедейство несправедное и глум над верой Христовой. Господь это видит, и не будет прощения лицемерам».

— Меня другое печалит. Зачем священники дары несправедные принимают? Ведь знают, что деньги эти мерзостью пахнут.

— Деньги не пахнут. Это ещё римский император Тит Флавий Веспасиан сказал почти две тысячи лет тому назад.

— Да, когда налог на мочу ввёл, которую из общественных туалетов собирали, чтобы кожи дубить, бельё стирать и даже зубы чистить.

— Вот, сама знаешь. А дары богатые церковь всегда принимала: и от власти, и от лихоимцев разных. Паства нищая тоже свою медную полушку несла — святую и чистую. Да только на именных брёвнышках и кирпичиках храм скоро не воздвигнешь.

— А как же обыденные церкви? Их община за сутки строила, «об один день». В ночь начинала и к заходу солнца уже крест на маковке ставила. И нечисть всякая в тот храм ходу не имела...

— До революции практически всё население России воцерковлено было, да 60 тысяч священников православных. Теперь, через сто лет, у нас священников вполтину меньше, а воцерковление и до десяти процентов не дотягивает.

— Была бы душа жива, а вера придёт — истинная вера...

Учительница взяла в ладонь хрупкую, будто из пожелтевшего и потрескавшегося пергамента старческую руку, легонько сжала её. Только теперь она поняла потаённый смысл, казалось, ненароком брошенной фразы о том, что тюрьма просто так никого от себя не отпускает. Её собеседница знала, о чём говорила, когда рассказывала о репрессированных писателях, вспоминала отца, свои первые годы учительства в ГУЛАГе, а вот теперь ещё и смерть сына.

— А мы с нашей школьной кафедрой филологии пойдём 15 марта Валентина Григорьевича Распутина с днём рождения поздравлять.

Анастасия резко сменила тему разговора, чтобы избавить старушку от горестных переживаний прошлого.

— В Москву приехала труппа Иркутского драмтеатра, во МХАТе покажут «Последний срок» — всего один спектакль. Валентин Григорьевич обязательно там будет. Я даже своих учеников позвала. Надо ещё букет роз купить. Он любит красные розы...

— Миленькая моя, — старушка приподнялась на кровати, встрепенулась. — Сделай доброе дело, подари ему лично от меня красивую алую розу... На холодильнике деньги лежат, 150 рублей... возьми их... этого ведь хватит на один цветок? Я так люблю книги этого писателя. Его «Уроки французского», «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Пожар», «В ту же землю», — ведь это всё о нас. Жаль, что сейчас он мало пишет.

— Однажды в Союзе писателей на Комсомольском я спросила его об этом, — Анастасия обрадовалась, что нашла светлую тему и отвлекла собеседницу от мрачных воспоминаний. — И знаете, что он ответил?

— ???

— Вот, почти дословно: «Поведать ещё о многом хочется, а слов настоящих нет...»

Слушая, старушка перевела взгляд с собеседницы куда-то в неведомое далеко и задумчиво произнесла:

— Сказать такое может позволить себе только действительно большой писатель, очень мудрый и ответственный человек...

— Он ещё посетовал, что в девяностые годы зря увлёкся публицистикой. Нужно было книги писать, раз Господь этим даром наделил...

— Что верно, то верно... — кивнула Агриппина. — Сколько бы ещё мог за это время сделать... Ну, дай Бог, ещё напишет.

— Мы тогда долго с ним в коридоре у окна стояли... В конце нашего разговора он сказал, что в нынешнее трудное время профессия учителя гораздо важнее, чем писательский труд. Я, конечно, возражать стала, а он ответил: «Писатель может создать самую гениальную книгу, но если не будет учителя, который научит буквы в слоги, а слоги в слова складывать и любить литературу, понимать её, то кто прочтёт этот шедевр?»

— Он трижды прав. Учителя всегда нужны стране и людям, а в переломные годы особенно, — кивнула старушка в знак согласия. — Значит, мы с тобой всё-таки не зря учительскую жизнь прожили...

Анастасия смотрела и поражалась этому удивительному человеку — учителю, которого жизнь ломала, судьба испытывала, болезни гнули и крутили, а она делала своё дело по-царски мудро, знающе, красиво и любяще. И тем счастлива была. Её совсем не трогало, что текло время, уносило жизнь, её жизнь. И вот теперь огонёк, пылавший когда-то в её груди жарким пламенем, уже совсем ослаб и едва согревал собственную душу, а вытащить из мрака окружающий мир или сделать его хотя бы чуть-чуть светлее сил уже вовсе не было, да и помощи ждать неоткуда и не от кого.

— Кто-нибудь из выпускников давно вас навещал?

— Давно... Уже и не помню, когда это в последний раз было. Сама знаешь, у всех свои дела, свои заботы и проблемы. Им не до стариков... Старость всегда одинока.

— А чувство благодарности?

— Оно не может быть вечным. И вообще: наивен тот учитель, который ждёт благодарности от своих учеников. В наше время — особенно. Если хотя бы вспоминают изредка, книгу в руки берут, стихи и сказки своим детям или внукам читают — уже хорошо.

Старушка вздохнула и улыбнулась.

— Наверное, мне всё-таки повезло, что я ещё так долго прожила на пенсии. Успела прочитать то, что не прочитала в школе, в университете и на работе; спокойно, не торопясь могла подумать о жизни и смерти, людях, учениках своих, Боге, державе нашей. Послушала уже забытую музыку, пересмотрела старые фильмы и фотографии, жизнь свою, как страницы, по годам и событиям перелистала, вспомнила всех родных, друзей, кого-то из врагов... Грехи старалась замолить, прощения попросила у Всевышнего, и у всех, перед кем была виновата. Вот только жаль, не все смогли услышать, — многих уже давно нет... Успела сделать то, что не успевала раньше, и теперь готова уйти спокойно: одна и налегке — в одной ночной рубашке — и ключ от жизни своей оставить у дверей под ковриком. Вдруг кому-нибудь пригодится...

Анастасия поняла, что вновь надо сменить тему, отвлечь подругу от скорбных переживаний, и не смогла удержаться от того, чтобы не высказать наболевшее — то, что возмутило её до глубины души.

— Недавно я прочитала в интернете, что самые большие взяточники в России — это врачи и учителя...

— Ну, не знаю, не знаю... Министры взятки берут по два миллиона долларов... Простому учителю больше трёхсот лет трудиться надо, чтобы столько денег заработать... Мне если и дарили коробку конфет, мы ее с ребятами тут же и съедали. Давай, поговорим об этом в следующий раз, что-то устала я...

«А ведь жизнь она прожила, словно книгу прочитала — интересную, захватывающую, с цветными и чёрно-белыми картинками, даже обожжёнными страницами. Дочитываешь последнюю фразу и ещё хочется продолжения. А уже всё, конец, — думала Анастасия, тихонько закрывая дверь знакомой квартиры. — Мы знаем, где и когда родились, и кто дал нам жизнь, но не ведаем, когда и где умрём, и кто или что в иной мир нас спровадит: болезнь, несчастный случай, старость... А главное — кто в этот миг рядом будет... Да и вообще, будет ли кто?»

150 рублей Анастасия не взяла, так и оставила на холодильнике. Роскошную алую розу для Распутина она, конечно, купит и подарит писателю от старой учительницы... А лишняя копейка Царице Агриппе самой ещё ох как пригодится...

\* \* \*

Месяца через два Анастасии позвонили. Звонок раздался прямо посередине урока литературы. Обычно она не отвечала, дабы не отвлекаться от темы и не сбивать темпоритм занятия, но сейчас что-то кольнуло её. Она взяла мобильник и, извинившись перед детьми, вышла в коридор.

— Алло. Это Анастасия Александровна Пеликанова? — В трубке звучал незнакомый мужской голос.

— Да...

— Вас, это, беспокоит участковый инспектор. Умерла Агриппина Васильевна Тюменцева.

— Как?! Когда?! — В переносице засвербило.

— Я, это, сейчас вместе с адвокатом, медиком и представителем бюро ритуальных услуг в её квартире. Нам, это, соседи позвонили... Она молодец, ключ от квартиры под коврик положила, даже дверь взламывать не пришлось. И, это... на столе завещание оставила, в нём ваши данные... Других родственников у неё нет. Вот, звоню вам... Вы, это, не могли бы приехать?

— Но я не... Да, приеду... обязательно... через час... урок закончу и...

— Нормально, мы, это, ждём вас. Адрес знаете?

— Да-да, конечно.

— Приезжайте.

Когда Анастасия вошла в знакомую квартирку, хозяйки уже не было — тело только что отвезли в морг. В коридорчике, на кухоньке и в комнатке всё прибрано и чисто.

Наскоро заполнив какие-то бланки, представитель бюро ритуальных услуг деловой скороговоркой сообщил Анастасии что-то о похоронах за казенный счёт и уехал, — чего задерживаться, тут много бабла не срубишь. Она едва успела попросить его заказать панихиду в местной церквушке Андрея Рублёва и передать деньги в оплату услуги. Торопились по своим делам участковый и стряпчий, а потому Анастасия лишь наскоро успела пробежать глазами завещание, написанное безукоризненным каллиграфическим почерком: библиотеку — в дар школе,



где работала Царица Агриппа и откуда ушла на пенсию; образа — в храм Андрея Рублёва; самодельно вырезанную из доски икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы — Анастасии Александровне Пеликановой... Квартира оставалась муниципальным властям, а финансовых сбережений и ценностей у покойной не было...

— Как же мебель, посуда, одежда, ноутбук... — учительница вопросительно посмотрела на деловых мужчин....

— Да кому нужно такое старьё и рухлядь! — досадливо отмахнулся юрист. — Его даже в богадельню не возьмут... Сёдня Департамент горимущества опечатает квартиру, а потом пришлёт сюда рабочих, и выбросят всё это барахло к чёртовой матери на помойку...

— Тогда, можно, я возьму компьютер? — робко спросила она.

— Да забирайте ради Бога. Тем более, я ещё не внёс его в опись. Только зачем он вам? Такой хлам и таджик на мусорке не подберёт...

— Там записи интересные, воспоминания, там её мир, её вселенная...

В школе новость о смерти старой учительницы не произвела никакого впечатления. Об Агриппине Васильевне Тюменцевой забыли уже давно и прочно, а молодые учителя и новая администрация о ней и вовсе не знали. Больше всех была раздосадована школьная библиотекаряша. Но не смерть взбудоражила её.

— Ну куда, куда я дену эти книги? Сподобила же её нелегкая завещать их школе! — сокрушалась она с негодованием и горечью. — А мне что с ними делать? Представляешь, сколько карточек нужно сидеть заполнять, — жаловалась она Анастасии.

— Ну, я тебе помогу, — будто оправдываясь, несмело предложила учительница. — Книжки-то ведь хорошие, и ничего, что старые, практически все по школьной программе... Полные собрания сочинений есть, академические издания...

— Да кто их читать будет, эти академические собрания сочинений... Вон они у меня стоят, пылятся, — она небрежно махнула рукой в сторону битком набитых книжных полок. — Никто их почти не берёт, всё в интернете находят, а я каждый год их списываю, да в макулатуру... На помойку книги выбрасывать — рука не поднимается... Да ты сама вспомни, что с библиотекой из ДК «Высотник» было.

Анастасии и вспоминать не стоило. Та история конца девяностых годов до сих пор бурлила в памяти жутким кошмаром. Прямо среди урока её вызвали в учительскую к телефону (мобильников в те годы ещё не было и в помине). Срывающийся от волнения, заикающийся и бессвязный от негодования женский голос рассказал, что в срочном порядке ликвидируют библиотеку Дома культуры «Высотник», и несколько тысяч книг, которые до дыр зачитывали строители сталинских высоток Москвы, а сейчас жители всего микрорайона, свезут на свалку. И вот директор библиотеки обзванивала все близлежащие школы, техникумы и вузы и слёзно умоляла спасти хотя бы самые лучшие книги. «Христом Богом прошу вас, — уговаривала директорша, — приходите, посмотрите, заберите любые издания, всё, что хотите... Друзей приводите, знакомых...»

В тот же день Анастасия Александровна вместе со своими учениками перенесла сотни книг, и с нагруженными сумками голосистая ватага кое-как, с остановками, чтобы отдохнуть, дотащила до школы. Ещё несколько десятков томов привезли на следующий день на своих машинах кое-кто из друзей и родителей учеников. Оприходовать должным образом солидное пополнение школьной библиотеки тогда никому и в голову не пришло: когда в стране бардак — до книг ли?

Да и как это сделать с изданиями, на форзаце и семнадцатой странице которых стояли жирный прямоугольный штамп фиолетового цвета ДК «Высотник» и каталожный номер, а в бумажном карманчике — карточка-формуляр с датами получения и возврата. Вот так дети подарили книгам вторую жизнь и ещё несколько лет их читали, над ними размышляли, о них спорили. Но как-то раз в школу нагрянула комиссия, и директор получил строгий нагоняй, а библиотечарша — выговор за... да какая разница, как звучала формулировка, — в общем, за книги из бывшего ДК «Высотник», где вместо библиотеки разместилось сначала казино, прибрав в азарте халка и кинозал, затем торжище импортным ширпотребом и шмотками «second hand», тотализатор, обменник, а потом и ресторан... А многострадальные бесхозные собрания сочинений великих авторов навсегда исчезли в ненасытном чреве мусоровоза, канули в вечность подобно Александрийской библиотеке, фолиантам Ивана Грозного. Такая же судьба ожидала и собрание книг Царицы Агриппы.

Перебирая книги умершей подруги, Анастасия вспомнила и другое, совсем недавнее событие.

2014 год, январь. Волею судеб она на несколько дней оказалась в Риге, где случайно узнала, что заканчивалось строительство Латвийской национальной библиотеки — величественного здания в дюжину этажей, напоминающего по своему очертанию высокий холм, увенчанный короной в три луча. Замок света, вершина учёности, дюна знаний, волна мудрости — у каждого возникали свои ассоциации. Это было последнее творение выдающегося латышского архитектора Гунара Биркертса, проживавшего в США, который за свой титанический труд не взял ни цента.

В смурной и ветреный субботний день 18 января и погода разгулялась, и непогодь: треснула морозцем, завьюжила позёмкой теснину проулков средневековой Риги, заволокла игольчатым туманом готические шпили, и студёный воздух с трудом продирался в легкие. Анастасия, как и тысячи жителей столицы, да и, наверное, всей республики от мала до велика, влилась в грандиозную двойную цепь длиной в 2014 метров (кто сказал, что магия чисел не имеет значения!?), чтобы доставить книги из старого здания библиотеки по близлежащим улицам и Каменному мосту через Даугаву в новое хранилище. Бережно передавали люди из рук в руки упакованные в полиэтилен тома, и первым фолиантом, обретшим новый кров, было старинное издание, где начертаны судьбы всего мира — Библия. Странно, но почему-то именно тогда Анастасию впервые поразило дивное сочетание и глубинный смысл давно знакомых однокоренных слов: Библия и библиотека... Неожиданным стало и то, что любой человек, где бы он ни жил, может передать сюда собственную любимую книгу. Подобно тому, как древние воины в память о себе и своих победах насыпали шеломами земляные холмы славы, так и теперь отдают люди дорогие сердцу семейные святыни и с дарственной надписью оставляют их для будущих поколений, обогащая курган всемирной литературы. Сейчас уже тысячи подаренных изданий разместились на полках огромных, уходящих ввысь стеллажей, прекрасно видных из любой точки парадного холла и галерей практически всех этажей и ставших достопримечательностью, украшающей библиотечный интерьер. Как и сокровища основного фонда, все подаренные книги занесены в каталог и оцифрованы. Отныне и навсегда каждый человек может ознакомиться с ними не только подержав в руках, но и отыскав их на сайте библиотеки во всемирной сети...

Анастасия Александровна смогла перенести в свой класс и поставить на пол-

ки в глубине книжных шкафов во вторых рядах лишь ничтожную часть богатого наследства Царицы Агриппы, скрыв это бумажное сокровище от непрошенных контролёров. «Впрочем, — рассудила она, — подальше положишь, поближе возьмёшь...»

Так уж получилось, что похороны совпали с праздником последнего школьного звонка, и Анастасии Александровне стоило больших трудов отпроситься у руководства школы с этого торжественного дня выпускников.

Ночью последняя майская гроза потоками буйной радости в сверкании молний и под раскатистый гром умыла ещё заспанный город, приготовила его к наступлению лета. Утром сквозь растрёпанные тучи рванулись из поднебесья вниз столбы небесного света, будто колонны храма Аполлона, вершинами которых солнце окружило себя, а основания раскрытым веером уткнуло в землю. Всё радовалось хорошей погоде, а она сама словно извинялась за ночной бедлам и светопреставленье — на пару с гидрометеоцентром, который сутки назад не предвещал весеннего ливня.

В скорбном траурном платье и чёрной ажурной шали Анастасия одиноко стояла у ворот бревенчатой церквушки преподобного Андрея Рублева в Раменках, держа в руках большой венок и ловя на себе сочувствующие взгляды торжественно-нарядных выпускников и их родителей, радостно спешащих в школу с яркими букетами в руках. Все три дня после новости о смерти Агриппины она чувствовала себя как ни у шубы рукав. И день не мой, и час чужой, и минута посторонняя, и секунда из другой оперы. Всё валилось из рук, невозможно было собрать мысли в кучу. Особенно неловко ей стало, когда, заказывая венок, она долго не могла придумать, что написать на траурной ленте. Слашавую банальщину, которую предлагал сотрудник ритуального бюро, не хотелось; подпись от родственников? — так их уж никого нет; от собственного имени? — ей показалось нескромным и бестактным; от бывших учеников и школы? — но где сейчас все эти ученики, и кто знал старенькую учительницу в нынешнем ГБОУ... Она вдруг вспомнила рассказ Юрия Бондарева и попросила сделать простую и безыскусную надпись: «Агриппине Васильевне Тюменцевой. Простите нас...», только вместо авторского восклицательного знака поставить многоточие.

— Анастасия Александровна, Господи, что случилось, кто у вас умер?

Она подняла голову. К ней подошла семья: муж с женой, их дочь, которая несколько лет назад окончила гуманитарный класс Анастасии и теперь училась на филфаке МГУ, и сын — нынешний одиннадцатиклассник с маленьким колокольчиком в петлице.

— Умерла моя старая подруга, замечательный человек и просто удивительный учитель русского языка и литературы. Она работала в нашей школе...

— Кто? Мы её знали? — Склонив головы, семья прочитала надпись на венке.

— Нет-нет. Она уже очень давно была на пенсии.

— А в нашей школе когда работала?

— Со дня её открытия.

Все замолчали, чувствуя какую-то неловкость и противоестественность ситуации: весна, солнце, праздник, радостно-приподнятое настроение и рядом — траур.

— Вот что мы сделаем...

Отец семейства, человек решительный и твёрдый, — именно таким его знала учительница по работе в родительском комитете своего класса, а потом и школы, взял из рук сына роскошный букет и протянул его Анастасии.

— Возьмите, пожалуйста, это от всех нас, от нашей семьи... в память о хорошем человеке... Пусть земля будет ей пухом.

— Но... но как же так... нет, я не могу... — робко пыталась возразить Анастасия. — Цветы сейчас такие дорогие, а букет... он вам самим нужен... Вы же его для вашей классной купили, для Марии Ивановны...

— Ничего-ничего, возьмите...

— Конечно берите...

— Марь Иванне мы еще купим, не проблема...

— Вон, киоск рядом, — наперебой уговаривали и родители, и дети.

Сквозь затуманившийся слезами взор Анастасия даже не заметила, как подъехал катафалк, и два мужичка из проворной ритуальной obsługi уже вытаскивали непритязательный гроб с крестиком на крышке, чтобы занести его в храм. Она сначала почувствовала, что вокруг что-то происходит, и только подняв глаза, увидела, как рядом с ней собралась небольшая толпа знакомых и незнакомых выпускников, их родителей, бабушек и дедушек. И какой-то неясный приглушённый говор шелестел, передавался из уст в уста. А ещё через минуту крышка гроба, обитая дешёвенькой красной материей с черным крепом по краям, была сплошь усыпана необыкновенной красоты и нарядности букетами цветов...

Она стояла, онемевшая и растроганная.

— Ну, мы пойдем, Анастасия Александровна, нехорошо на праздник опаздывать.

— Извините, мы не сможем на кладбище с вами поехать...

— Да, и на панихиду тоже... на последний звонок торопимся...

— Цветы ещё надо купить...

— Просили не задерживаться... Всего доброго, Анастасия Александровна.

— Мы на выпускной вас ждём обязательно.

И вновь она осталась одна.

Под сводами церкви на двух табуретках стоял гроб с телом Царицы Агриппы. Батюшка прочёл молебен «Со святыми упокой», посыпал на покров усопшей землю в форме креста, Анастасия едва успела поцеловать холодный лоб покойницы, как домовину накрыли крышкой, словно крышей, заколотили и вновь погрузили в катафалк среди моря цветов, в котором затерялся один-единственный веночек с траурной лентой.

К кладбищу ехали какими-то зигзагами, видимо, объезжая столичные заторы и пробки. Где-то в районе проспекта 60-летия Октября заехали во двор и остановились, — наверное, у водителя здесь было какое-то своё заделье. В окно Анастасия неожиданно увидела памятник Ленину. Обветшалый и облупившийся Ильич стоял совсем рядом. Устремивший вперёд и вверх свою руку, он уже не указывал путь в светлое завтра, а тянул её к кому-то неведомому, словно просил вытащить его из прогнившего сегодня. Не зная, зачем она это делает, Анастасия взяла первый попавшийся под руку букет, вышла из автобуса и положила цветы к подножию монумента.

— Эй, смотрите, жмурика везут!

Пробегавшая мимо бойкая ватага пацанов остановилась на секунду у катафалка.

— Так это же к удаче — мертвеца встретить! — крикнул кто-то в ответ, и команда рванула со двора на улицу.

На кладбище всё свершалось по-деловому сноровисто и быстро. Могила была уже отрыта, в неё торопливо опустили гроб, без промедленья забросали землёй — Анастасия еле-еле успела кинуть первый ком — воткнули деревянный крест, на-

сыпали холмик. Казенные похороны просты и незатейливы, — постыдно-обыденное закапывание покойника в яму... За те пять минут, что кладбищенская бригада перекуривала, Анастасия украсила могилу цветами. Венок поставила ближе к кресту, чтоб надпись была заметна.

Над соседними могилами шумела молодая зелёная листва, и где-то далеко от погоста, в школе на Западе Москвы, где много лет работала Царица Агриппа, прощально и грустно звенел на празднике выпускников-одинадцатиклассников последний звонок. А на книжной полке в квартире Пеликановых нашла пристанище искусно вырезанная из дерева икона Анастасии Узорешительницы — с маленькой застывшей капелькой янтарной смолки кедрача на щеке. Когда и как появилась эта слёзка на святом лице, — Бог весть...